

Анатолий Курчаткин

ПОЛЁТ ШМЕЛЯ

Серия «Самое время!»

«Мастер!» — воскликнул известный советский критик Анатолий Бочаров в одной из своих статей, заканчивая разбор рассказа Анатолия Курчаткина «Хозяйка кооперативной квартиры». С той поры прошло тридцать лет, но всякий раз, читая прозу писателя, хочется повторить это определение критика. Герой нового романа Анатолия Курчаткина «Полёт шмеля» — талантливый поэт, неординарная личность. Середина шестидесятых ушедшего века, поднятая в воздух по тревоге стратегическая авиация СССР с ядерными бомбами на борту, и середина первого десятилетия нового века, встреча на лыжне в парке «Сокольники» с кремлевским чиновником, передача тому требуемого «отката» в виде пачек «зеленых» — это всё жизнь героя. Два повествовательных потока, исторический и современный, текут одновременно, рисуя для читателя ясный и выразительный портрет времени.

*Он медленно сходил с ума.
Никогда еще не вел он такого
странного существования.*

Б. Пастернак. Доктор Живаго

*Я многое опускаю, потому
что
очень тороплюсь. Прими,
Господи,
исповедь мою и
благодарность,
пусть и безмолвную,
за бесчисленные дела Твои.*

Блаженный Августин. Исповедь

Вот так и начинаешь понимать, что значат слова: «В наше время...» При чем здесь, вскипаешь, «наше», я что, труп холодный, в сырой земле зарытый? Я — вот он, с руками-ногами, и даже не лыс, только борода подседела, не брюхаст, не рыхл, и Мистер Эрект в полном здравии, это и мое время, мое тоже! В ваши годы в двигателе не смыслишь ничего, только и можешь что крутить руль да жать на педали, выжать сто сорок км/час — это вы да, а когда у вас искра пропала и из-под капота пар повалил — вы что? что вы? что? чешете в недоумении свои репы и ко мне в ножки: ах, погляди, поковырайся. сосунки, молокососы!

Но вот тебе понадобилось выжать эти самые сто сорок км. Которые прежде брал за самое малое число секунд, пусть даже и гололед — видали мы этот гололед! — и вдруг оказывается, взять-то сто сорок ты можешь, а держать. что-то дрожит в тебе, поеживает, и не боишься, а не получается держать сто сорок, и вот уже тащишься на разрешенных шестидесяти, тебе гудят, мигают подфарниками, тебя обгоняют и слева, и справа, в открытые окна летят матюги, в закрытые тебя факуют выставленным средним пальцем, ты унижен, раздавлен, хочешь поднять скорость хотя бы немного, чуть-чуть, не ради скорости — чтобы себя в своих глазах поднять, но что такое? — нога не нажимает на педаль, убей тебя — не нажмет. Что из того, что ты понимаешь в устройстве двигателя, на дороге нужно мчать, давить на газ и держать скорость — вот что нужно на дороге. Ты жив, ты здоров, с руками-ногами, и только борода подседела, но что-то с тобой случилось, что-то изменилось в тебе — ты неи пас, но уже и не ездок, сваливай на обочину и кукуй там, пока кому-то не понадобится поковыряться в его моторе. А не понадобится — так и тьфу на тебя, и утрись: это уже их время...

Ах, Боже мой, Боже мой, что за мысли лезут в голову. Хотя, конечно, понятно почему: потому что ты не можешь родить им нужный текст, три, четыре, пять строф, пять куплетов с припевом — таких, чтоб *зашибись*, чтоб *вставляло*. Куда что делось, ведь раньше раз-два — и готово, сел-присел — и уголек на-гора. Теперь хоть на голову встань — какая-то щепка древесная вместо угля, и столько ее надо пережевать в себе, переварить, пережечь, чтобы она превратилась в уголь, — кошмар. «Единокого слова ради

тысячи тонн словесной руды». Вот-вот, тысячи тонн, кто б знал, что это такое.

— Пospелыч, ты что, сдох, что ли? — вопрошает Ромка-клавишник.

Он меня всегда называет так — по фамилии, но переделанной под отчество. Осознанно или неосознанно, а скорее неосознанно-осознанно отделяя меня от них, подчеркивая, показывая мне: мы — это мы, это наше время, а ты, сэр, уже все, ты не наш.

— Что значит сдох? — будто не понял его, переспрашиваю я. — Ты что имеешь в виду?

И нарываюсь:

— То, что не прешь уже совсем. Лабуду какую гонишь, ты не врубаешься? Это же все, что ты принес, даже в размер не лезет!

— Не лезет, Пospелыч, не лезет, — выбивая на ляжках некий ритм, будто они у него ударная установка, подтверждает Маврикий — такое у него прозвище. Он уверяет, что, когда еще учился в школе и собирал марки, у него будто бы была первая почтовая марка острова Святого Маврикия, которой осталось в мире считаное число штук, а он, не зная истинной ценности марки, обменял ее на блок юбилейных советских марок, посвященных космонавтике. — И вообще, что за текст: «Жизнь хороша, когда тебя не кусает вша...»? Рэп какой-то. Как это петь, ты представляешь? Это же балаган!

— Какой балаган, — бормочу я. — Ирония такая. Оптимистическая даже.

— Ага, оптимистическая! — вскидывается Ромка-клавишник. И обегает всех общими взлядом, призывая присоединиться к его суждению. — Особенно когда там в конце о веревке. Очень оптимистично.

— Ну, это же не всерьез, — пытаюсь защититься я. — Это же все ирония.

— Да нет, что говорить, не то это все, не то. — Савёл, большей частью до того молчавший — только отдельные реплики из сплошных междометий, будто подводит итожашую черту.

Савёл — чиф, команданте, их Фидель Кастро, хотя его инструмент — всего лишь бас-гитара, слово Савёла — это приговор: до того намыливали веревку, теперь повесят.

Я, однако, еще пытаюсь трепыхаться; или не пытаюсь, а это, перед тем как обмякнуть, бьется в произвольных конвульсиях вздернутое на рею тело:

— Ребята, это как раз самое то! Серьез вашей группе не по формату, а вот такая маска трагической иронии — как раз для вашего нынешнего облика, клянусь!

— Да не клянись, — говорит Ромка-клавишник. — Ты сдох, Пospelыч. Ты ни строки путной выдать не можешь. Ни строки!

Он жесток, Ромка, он беспощаден; он на своих ста сорока снесет любого, кто оказался у него на пути, снесет — и помчит дальше, не сбавив скорости.

— Да, Лёнчик, — голос Савёла, в отличие от Ромки-клавишника, бархатно-нежен, так и кажется, Савёл сыплет мне под бок соломку, чтобы мое жесткое ложе стало помягче. — Давно ты нам ничего не выдавал. А нам сейчас что-то такое нужно. чтобы так и залудить в десятку. Вот вроде той твоей «Песенки стрельцов».

Он еще беспощадней Ромки, он настоящий садист, он коварен и изощрен в своем коварстве. Он прекрасно знает, что я терпеть не могу, когда их компания называет меня Лёнчиком, а ко всему тому я старше их на добрую четверть века, какой я им «Лёнчик», но он называет меня Лёнчиком.

— Ну, что вспомнил! — хриплю я с реи на последнем издыхании.

Его комплимент мне тоже полон садистского коварства.

С той моей «Песенки стрельцов», текст которой на излете советской власти неведомыми путями попал к ним, еще совсем зеленым, и началось наше сотрудничество. Без малого двадцать лет назад. Я и сам тогда, можно сказать, был еще молодым человеком. Что там, совсем немного за сорок.

— А чего «вспомнил», — не дает мне спокойно уйти в смертельную темноту Ромка, — Савёл правильно говорит. Лучше того текста ты ничего нам больше и не дал.

Тут Савёл застывает за меня — я не успеваю прохрипеть с реи ни звука:

— Нет, Роман, не скажи. И еще отличные были тексты.

Он, кроме того, что всех в группе называет полными именами (это меня можно «Лёнчиком», автор текстов — что-то вроде раба с галер), еще старается быть как бы и справедливым.

Ромка с Маврикием мгновенно соглашаются:

— Да, ты, конечно, прав. Были.

Смешно сказать, но теряющему сознание висельнику эта предсмертная похвала доставляет удовольствие.

— Да только мои тексты и были у вас приличные.

— Да уж только твои! Как себя ценишь! — спешат

повиснуть на веревке всем своим весом Ромка с Маврикием, чтобы петля на шее наконец удавила меня.

Савёл лишь усмехается. Но в усмешке его — тот же смысл, что у Ромки с Маврикием.

Оставаться в доме Савёла дальше нет никакого смысла.

— Ладно, — говорю я, поднимаясь с дивана, — не хотите — как хотите.

Меня не держат. Со мной все ясно, я свое отслужил, это их время, и пришельцы из прошлого тут не нужны. Савёл разводит руками:

— Как хочешь, Лёнчик.

Лицо его выражает почти искреннее сожаление. Лицедей. Потому он и чиф, команданте, что лицедей. Улыбка, которой он сопровождает выражение своего лица, выпускает наружу его заячьи зубы, но если бы кто сделал заключение о его натуре по этим зубам, он бы ошибся. Савёл не заяц. Натура у него волчья. Волк-лицедей.

Ромка с Маврикием не устаивают меня даже словом прощания. Ждут, когда я двинусь, и молчат — как до того молчал Савёл. Какое прощание со вздернутым на рее.

Савёл поднимается со своего крутящегося табурета следом за мной.

— Я тебя провожу. А то не выедешь.

Это верно, не выеду. Ворота его усадьбы сами по себе меня не выпустят. Савёл должен разрешить им распахнуться передо мной. До его дома я не имел и понятия, что бывают такие ворота — открыться-закрыться простым нажатием кнопки на пульте, словно включаешь-выключаешь, гуляешь по каналам у телевизора. Савёл не просто волк-лицедей, он хват. Суметь отхватить гектар земли в этом районе банкиров и подобных им воротил крупного бизнеса! А и не просто отхватить, но и построить дом. Никто другой из их группы не может о таком и помыслить.

Студия у Савёла в пристройке, в нее есть отдельный вход, однако пользуется он им редко, и мы идем через дом. Мы проходим столовой, гостиной, заворачиваем — и оказываемся напротив двери на кухню. Кухня ярко освещена, она так и полыхает куском солнца, словно операционная, хирургическими инструментами позвякивают крышки кастрюль, посвистывает миксер — там под руководством жены Савёла домработница готовит ужин на всю компанию. Какая бы жена у Савёла ни была, когда у него люди, все непременно будут напоены и накормлены по-царски, тут надо отдать ему должное. Он знает, через что лежит путь к

человеческому сердцу. А жена у него сейчас опять новая. Как только что сошедший с монетоделательной машины рубль — так и блестит. Кажется, ей нет даже восемнадцати, и, когда стала жить у Савёла, у него были основательные неприятности с ее родителями. Которые, впрочем, он благополучно разругал.

— Ой! — восклицает она, заметив с кухни наши силуэты и распознав в одном из них меня. — Вы что, Леонид Михайлович, уходите?

Она обращается ко мне на вы, непременно с отчеством и произнося отчество без сокращения: не «Михалыч», а вот так: «Михайлович». Я для нее столь глубокая древность, что сократить мое отчество — все равно что дотронуться до древнеегипетской мумии без перчаток.

— Ухожу, Танюша. Дела. Попируйте без меня, — говорю я со всею возможной галантностью, стараясь не позволить себе ни единой интонацией выказать своего состояния. Не столько ей, сколько ему, Савёлу. Они не увидят моего отчаяния. Не дождутся моих слез. Смотрите, смотрите, гады, как умирают русские офицеры!

— О-ой! — тянет жена Савёла. — Ну останьтесь, Леонид Михайлович. Я так люблю, когда вы за столом. Вы так интересно рассказываете!

Она не притворяется, она говорит правду, я ей верю. Древнеегипетская мумия интересно рассказывает о временах строительства пирамид. От кого еще в ее окружении услышишь об этом.

— Не могу. К сожалению. Должен идти, — вступив на полшага в солнечное сияние кухни, кланяюсь я. — Счастливо, Иветта Альбертовна, — кланяюсь я домработнице, кивающей мне от бьющей солнечным жаром плиты с такой лучезарной улыбкой — ослепительнее солнца, заливающего своим светом кухню.

Новенькой савёловской жене домработница, наверное, кажется старухой, немного отстоящей по времени рождения от поры египетских пирамид. На самом же деле ей всего чуть за сорок, и по всему ее поведению, по этой ее старательной ослепительно-лучезарной улыбке видно, что родители готовили ее совсем к иной судьбе. Да чего стоит одно имя. Разве, готовя к судьбе домработницы, дают такие имена. «Иветта». Надо же было откуда-то выкопать!

— Всего доброго, Леонид Михалыч! — отзывается на мой поклон счастливая деньгам, которые она получает у Савёла, держа в чистоте его дом и помогая новой жене исполнять

свои обязанности хозяйки, домработница.

Я для нее уже не древнеегипетская мумия, а вполне себе живой, современный гражданин, просто родившийся на два десятка лет раньше.

Мы выходим с Савёлом в темноту. Правда, не совсем в темноту: крыльцо и вся площадка перед ним освещены мощной галогенной лампой — темнота стоит за пределами высвеченного ею пространства. Если бы вокруг лежал снег, как то положено по времени, было бы видно далеко вокруг, но снега нет, и за пределами освещенного пространства — темнота.

Она лопочет дождем; по металлической черепице крыльца над головой дождь стучит с ксилофонной звонкостью, а мокро блестящая площадка перед крыльцом, выложенная тротуарной плиткой, вся в шуршании вскипающих серебристых султанчиков. Что за зима нынче. Европа пришла к нам будто с заднего двора: ждали с ее культурой, законами, нравами, а она с климатом.

— Что за зима, — произносит Савёл. — Вот написал бы что-нибудь такое: дождь в декабре, она, он, на душе слякоть, но снег еще выбелит их жизнь, придет чистота, покой, а вслед за холодами настанет лето.

— Такие лирические сопли? — не могу удержаться я. — Или решили реформатизироваться?

— А ты напиши, напиши, — не обращает внимания на мою подковырку Савёл. — Ты нас заведи текстом. Мы, если заведемся, и из соплей такого наворочаем!..

— Ну, о'кей. Заказ принят, — отвечаю я. Что ничего не значит. Не нужен им никакой текст про дождь. Это Савёл просто так. С высоты своей устроенности. Упакованности. Да и не напишу я такого. Я скептичен, а лирика и скепсис — две вещи несовместные. Как гений и злодейство, по Александру Сергеичу.

Дождь, едва крыша крыльца перестает меня защищать, тотчас проникает за шиворот, и, пока я вожусь с замком, открывая свое корыто, позвоночный желобок весь становится мокрым. Мои «Жигули-спутник» так древни, что никакая электронная система безопасности им не требуется; их древность — лучшая гарантия от угона. В сравнении с ними стоящие рядом «Рено Меган» Маврикия и «Опель Астра» Ромки, совсем не роскошные, кажутся машинами миллионеров.

Когда до ворот, театрально освещенных моими фарами, остается метров пятнадцать, они медленно начинают

отползать в сторону — подал пультом с крыльца сигнал Савёл.

Выехав на шоссе, я прохожу по нему метров триста, съезжаю на обочину и останавливаюсь. У меня нет сил вести машину. Боже, Боже, что делать, как добывать на хлеб, раз ты продолжаешь длить мою жизнь, и даже инстинкт самосохранения, словно у пятнадцатилетнего юнца!

Я кладу перед собой руки на руль, ложусь на них головой и закрываю глаза. Боже, Боже, дай сил, научи, что делать, Господи, подскажи!

Открыть глаза и поднять голову заставляет меня грубый, сильный стук в стекло у меня над ухом. Это гаишник. В блестящем от дождя плаще поверх желтой светоотражающей куртки, в перчатках с громадными раструбами. Он стоит около моей машины и стучит с такой экспрессией — я бы открыл глаза, будь даже мертв.

Рука моя, словно сама собой, дергается к ручке на двери и торопливо крутит ее, опуская стекло. Гаишник на дороге, да еще на такой трассе — это все равно что встреча с самим Господом Богом на Страшном суде.

— Что случилось? Почему стоите? Вам плохо? — железным уличающим голосом вопрошает гаишник, так что я мгновенно начинаю чувствовать себя наверняка совершившим некое правонарушение.

— Нет-нет, все нормально, — тишайше, с упреждающим признанием своей вины говорю я.

— Нормально? — тем же уличающим голосом переспрашивает гаишник, оглядывая внутренность машины, — будто ощупывая взглядом. — А почему остановились?

— Да просто... — тяну я, не зная, как выскользнуть из мышеловки, в которую заскочил собственной волей. Следовало сообразить, что на такой трассе стоящая на обочине машина с водителем, лежащим головой на руле, непременно покажется подозрительной. — Надо было обдумать одну мысль. Я поэт, — спасительно соображаю я, как ответить. Поэт — это что-то вроде юродивого. А с юродивого что взять.

— Поэт? — снова переспрашивает гаишник. В его железном уличающем голосе звучит недоумение и неверие. — Прямо и книжки есть?

Без книжек господин поэт не ездит. Книжка — спасительница, книжка иногда помогает уйти и от настоящего нарушения.

Я перегибаюсь через спинку, достаю с заднего сиденья

сумку и вытаскиваю из нее экземпляр книжки. Книжка с портретом на задней обложке. Правда, фотография, как и должно быть на книжке, вышедшей еще при советской власти, больше чем пятнадцатилетней давности, но все же в том прежнем можно узнать меня нынешнего.

Гаишник, сняв с руки перчатку, просовывает руку в окошко, берет книжку, крутит перед собой, обнаруживает фотографию, и глаза его, прыгая с фотографии на меня и обратно, приступают к оценке правдивости моего заявления. Оценка оказывается в мою пользу, — голос его наполняется пусть и порицающей, но теплотой:

— Что же вы, Леонид Пospelов, выбрали такое неудачное место для мыслей? — И шутит: — Думать надо, где думать!

Судя по всему, критическая точка позади, Зевсов гнев остывает, и я закономерно наглею, отваживаясь перехватить инициативу в свои руки.

— Давайте я вам подпишу, — говорю я, извлекая из внутреннего кармана ручку и забирая у него книжку, словно он уже дал согласие. — Останется на память о нашей встрече.

Я завожу мотор и выползаю с обочины на проезжую часть со сладостным чувством удачно обтяпанного дельца.

Чувство удачно обтяпанного дельца наполняет меня бодростью и энергией. Голова у меня ясна, мир чист, промыт, горизонт жизни четок. Я знаю, что мне делать, представляю свои следующие действия на десяток ходов вперед. Если, конечно, мне будет сопутствовать удача. Если Балерунья окажется дома. Если разрешит мне приехать к ней. Если не откажет в моей просьбе.

Балерунья — так я называю ее лишь про себя. Она не разрешает мне называть ее Балеруньей. Давно, в самом начале нашего знакомства, когда она и в самом деле еще танцевала, мое настойчивое желание обращаться к ней так стоило мне почти полугодового отлучения от ее дома.

Я вытаскиваю из кармана мобильный, нахожу в его записной книжке домашний телефон Балеруньи и посылаю на него вызов. Меня интересует именно домашний ее телефон, не мобильный. Замышленный мной разговор требует встречи. И не где-нибудь, не на ходу.

Балерунья оказывается дома.

— Лёначка, — говорит она своим ласковым поющим голосом. — Привет! Слушаю тебя, дорогой.

Дорогой напрашивается к ней домой. Прямо бы сейчас. Очень нужно. Очень, очень нужно.

Да если бы и не очень нужно, о чем разговор, она меня

всегда ждет — разве только совсем не может. А так вообще всегда, и сейчас — конечно. Через сколько я буду у нее?

Во двор Балеруныного дома на Гончарной, бывшей Володарского, не заедешь. Чугунные ворота в арках, которые в прежние годы всегда стояли распахнутыми, теперь так же всегда замкнуты, внутрь могут попасть только свои, у кого есть ключи. В соседях у Балеруны из прошлых жильцов почти никого не осталось — сменились девять из десяти. В достойных домах должны жить достойные люди. Гончарная (бывшая Володарского) на моих глазах стала буржуазной, вся залоснившись, словно дворовый кот, попавший в поварскую. Я с трудом вталкиваю свое корыто между «мерседесом» и «ауди» едва не у высотного здания на Котельнической, в другом конце улицы, и, распахнув зонт, слыша шуршащий перестук капель над головой, мимо парадных входов банков и других подобных им офисов отправляюсь в обратный путь к Балеруныному дому.

Балерунья встречает меня в шелковом китайском халате, в красном драконий распах которого на каждый шаг выметывается ее великолепная сильная ножка. Она по-прежнему каждый день часа два проводит у станка, установив тот в одной из комнат своей безбрежной квартиры, и икры у нее — будто два кирпича, упрятанных под кожу, такие ножки встречаются лишь у балерин. Под халатом у нее, может быть, ничего нет, но это не значит, что она намерена допустить заявившегося в ее пещеру Али-Бабу до своих сокровищ. Она любит ходить в халате на голое тело. Она любит свое тело и любит дразнить им. Хотя в намерениях ее можно и ошибиться и получить сокровища, совершенно на них не рассчитывая.

— Я так обрадовалась твоему звонку, — говорит Балерунья, подставляя мне губы для поцелуя. — Не так, не так! — восклицает она, отрываясь от моих губ и глядя на меня с негодованием. — Как ты целуешь? Меня нужно целовать крепко, сильными губами. Совсем забыл, как меня нужно целовать?

Я исправляюсь, целуя ее в соответствии с ее требованиями.

— Вот, теперь другое дело, — удовлетворенно отстраняется от меня Балерунья. — А то совсем все забыл. Забросил свою бедную Лизу.

Я невольно хмыкаю. Имя Балеруны действительно Лиза, но к героине Карамзина она имеет такое же отношение, как я к лермонтовскому Печорину. К какой героине русской классики она имеет отношение, так скорее к Настасье

Филипповне. Или Ирине Николаевне Аркадиной из чеховской «Чайки». А может быть, к Раневской из «Вишневого сада». Хотя, наверно, я называю ее Балеруньей, чтобы не называть гетерой. Потому что, в принципе, она гетера. Только в отличие от тех римских гетер в течение двадцати лет она танцевала не просто перед своими любовниками, а перед зрительным залом (правда, в зрительном зале ее любовники непременно присутствовали, и я, бывало, сживал тоже).

О, как я был влюблен в нее, когда мы познакомились. Если это можно назвать влюбленностью. Я потерял голову — задним числом мне стала понятна эта фраза во всей ее точности. Бог знает что было у меня на шее вместо головы, не хочется даже искать сравнений. Наверное, тогда по ее слову я не мог только совершить убийство, все остальное, скажи она, — пожалуйста. Балериной она была вполне заурядной, кордебалет и кордебалет, но в танце с мужчиной она оказывалась примой. В настоящие солистки вытянуть ее так и не смогли, но все остальное, что только можно было взять от жизни, она получила. Эту же вот квартиру на Гончарной. Тогда, конечно, Гончарная еще называлась Володарского, но квартира-то была этой же. От меня, впрочем, она ничего не получила. Кроме пользования ее сокровищами да нескольких посещений ЦДЛ, писательского клуба. Она держала меня при себе ради меня самого. Мне даже не пришлось бросать свою вторую жену, на что я уже был готов, несмотря на то что жена только что родила нашу дочь и еще кормила грудью. Балерунья сама же и не позволила мне сделать этого. «Ты с ума сошел?!» — спросила она меня со смехом, когда я признался ей в своей готовности переменить ради нее свою жизнь. Тогда вот мне и открылась ее сущность. Вернее, она сама мне ее и открыла. Не подстелив ни пучка соломки, чтоб было помягче, разом переведя отношения в ту плоскость, которая ее устраивала. О, как я страдал тогда. Стыдно даже вспоминать. Так я и понял, как юные римские аристократы просаживали на гетерах отцовские состояния.

Развешая полами халата, Балерунья ведет меня в глубь квартиры. То, что она приводит меня в гостиную, — знак. Гостиная значит, что допуск к ее сокровищам не исключен. Гостиная у нее — это почти будуар, сигнал доверительности, тем более что сейчас в ней устроен интимный полумрак-полусвет; если бы допуск к сокровищам категорически исключался, она привела бы меня в столовую. Балерунья вся из таких знаков.

— Вид у тебя, чтоб ты знал, будто у тебя морская болезнь, — роняет Балерунья, когда я утопаю в большом, сработанном для двух таких, как я, кожаном кресле, а она, налив мне пятизвездочного коньяка «Арагат», себе бокал красного французского вина, забросив ногу на ногу и открывшись почти до паха, устраивается подле меня на круглом толстом подлокотнике. — Что-то я и не припомню, чтобы мне приходилось видеть тебя таким.

Не приходилось, почти наверняка. Рядом с Балеруньей, если не хочешь утратить ее интереса к себе, нужно быть победителем, человеком успеха. Страдальцы, неудачники, растяпы ей не нужны, она откажет такому в своем обществе, только почувствует его *конченность*, без жалости. Вот до чего я дошел — позволяю себе предстать перед нею таким, рискуя нашей двадцатилетней близостью. Которая отнюдь не всегда была телесной, но которой я всегда дорожил — одинокому волчаре нужен камелек, к которому он может прийти и погреться, пусть огонь этого камелька и согреет тебе только один бок.

— Милая Лиз. — прочитав в свою пору «Встречи с Лиз» Добычина, вслух, обращаясь к ней, я всегда называю ее так, ей нравится это обращение. — Это, ты полагаешь, так на меня действует декабрьский дождь? Ты заблуждаешься, морской болезнью я страдаю лишь возле тебя: столь сильно ты мне кружишь голову.

С ней надо трепаться, забавлять ее, быть ей интересным. Только в виде трепа и можно высказать ей свою просьбу.

— Да, — словно потягиваясь, произносит она, — не ты один, у кого кружится голова. Но я тебе верна. Ты обратил внимание, сколько лет, а я тебе верна?

Интересно, что она имеет в виду под верностью? То, что за двадцать лет мы не разорвали отношений? Ну так это были отношения без всяких взаимных обязательств, что тут было разрывать — нечего.

— О, какая ты верная подруга! — говорю я. — Вернее не видел. И щедрая: «Арагат» пять звездочек. Это покруче всякого «Хеннесси»!

— Что ты имеешь против «Арагата»? — вопрошает Балерунья. — Чтоб ты знал, понимающие люди считают «Арагат» пять звездочек лучше всякого «Хеннесси»! Пьешь, наверно, всякую дрянь подешевле, вроде паленой водки, от которой все вокруг травятся?

Это она перебирает. Ей прекрасно известно, что я отнюдь не большой любитель выпить, а потому весьма разборчив в

напитках и пить паленую водку — это уж извините. Но кое в чем она недалеко от истины: когда приходится покупать на свои, то приходится покупать что подешевле. Я уже давно не могу позволить себе что подороже. И если бы речь только о дарах Бахуса!

— Стараюсь пить на даровщинку, — отвечаю я ей. — Вот, что-нибудь вроде «Арарата» пять звездочек. Неплохой, знаешь, коньяк, понимающие люди говорят, получше «Хеннесси».

Балерунья смеется. Ей приятен мой треп, такая пряность в разговоре по ней. Перец и гвоздика в блюде — это по ее вкусу.

Так, в трепе, сыпля перцем с гвоздикой, я и раскатываю перед ней дорожку того разговора, ради которого приехал.

— Подожди-подожди, — перебивает она меня. — У тебя трое детей?!

До нынешнего дня, несмотря на наши двадцать лет, она и понятия не имела, что я столь многодетный отец. Ее не интересовало, а я не полагал нужным обременять ее таким знанием. Сын от первого брака, но он уже в том возрасте, в котором Данте заблудился в сумрачном лесу, и мне только остается удивляться, что за этим мужчиной я когда-то стирал обделанные пеленки. Дочери от второго брака тоже уже изрядно, двадцать два — пора бы и диплом получить, и замуж бы можно, но она все ищет себя, меняя один университет на другой, а замуж в двадцать два теперь кто выходит? — и моя шея по-прежнему не свободна от нее. Однако настоящая моя головная боль — мой второй сын, ее родной брат. Мало того что из-за асфиксии при рождении он пошел в школу с задержкой на год, так нас с моей второй женой угораздило столь неудачно зачать его, что если он не поступит в университет с первой попытки, в осенний призыв, его неизбежно загребут в армию. Мерси боку, я отслужил положенные тогда три года срочной куда в лучшие времена, когда никакой дедовщины не было и в помине, но и тогда, вернувшись из армии, я никому не посоветовал бы отправляться на срочную добровольцем, как мне пожелать сыну казарменной жизни по нынешним временам? А ему до окончания школы — несколько месяцев, в теперешней школе не могут даже научить грамотно писать, одно спасение — репетиторы, но репетиторы — это деньги, деньги, и какие!

— Послушай, — перебивает Балерунья меня в другой раз, — но ты же в разводе с их матерью? Вы же не живете вместе. Или я ошибаюсь?

Она не ошибается. В разводе, в разводе, хотя и неофициальном, и уже тыщу лет. И Балерунья не последняя тому причина и прекрасно знает это, но ей хочется насладиться лишним подтверждением этого знания.

— Мало ли что не живем, — я стараюсь, чтобы в голосе у меня не было и следа тяжести, чтобы он звучал, будто у нас идет все тот же треп. — Я ведь отец. Я не считаю себя свободным от своих отцовских обязанностей.

— Боже мой! — восклицает она. — Я и понятия не имела, что ты такой положительный! Слушай, ты ужасно, ужасно положительный! — Ее узкая быстрая рука расстегивает мне ворот рубашки и проникает на грудь. — Я даже не понимаю, нравится мне, что ты такой положительный, или нет. Надо бы понять!

Предчувствия меня не обманули: мне предлагается набрать полные пригоршни сокровищ. Придется брать. Да у меня, по правде говоря, уже и разгорелись глаза. Руки, впрочем, чтобы принять сокровища, должны быть чистыми, — я непременно должен еще принять душ. Желания принимать душ у меня нет. Однако под душ придется отправиться.

Когда через десять минут я вхожу в ее спальню, Балерунья ждет меня уже в постели. В отличие от гостиной здесь не полумрак, а сумрак — лампы-миньоны в затянутых красных материей бра так слабы, что не могут осветить комнатного пространства; их назначение не в том, чтобы дать свет, а в том, чтобы создать этот сумрак. Может быть, это собственное изобретение Балерунии, а может, где-то и вычитала, но римские гетеры тоже принимали своих поклонников в темных комнатах, где теплились, лишь слегка разжижая глухой мрак, один-два масляных светильника.

— Какой чистый! Какой хрустящий! Прямо накрахмаленный! — выдает восторженный рык Балерунья, обнимая меня.

Из меня вырывается ответный рык, зверь я, зверь она, мы оба — охотники и добыча. Балерунья была заурядной балериной, но в этом красном сумраке взаимной охоты она гениальна. Она одаривает своими сокровищами с такой самозабвенной щедростью, что огребаешь их столько, сколько в другом случае не унес бы. Я становлюсь с ней способным на такую охоту, на какую не способен больше ни с кем. Моему охотнику сразу после выстрела по силам еще одна, новая охота, на что последние годы согласен лишь с ней.

Однако я все же уже не тот, каким был еще и десять лет

назад. Да и она не та. Десять лет назад нам нужен был час, еще раньше часа полтора, теперь нам хватает получаса. Лежа с ней рядом на спине, я вяло думаю о том разговоре, что у нас состоялся. Кажется, она приняла мою просьбу благосклонно. Словно бы ей давно хотелось от меня чего-то подобного, и вот дождалась. Как если б моя просьба разом дала ей надо мной власть, которой она желала и которой все не могла получить. Что это за власть, когда она и без того властвует надо мной уже целую треть моей жизни, так мне и не удастся понять: сознание мое становится все сонней, сонней — и меня уводит в сон.

Сколько я проспал, остается мне неизвестным. Я вынырываю из сонного небытия от того, что, приподнявшись надо мной на локте и сложив губы трубочкой, Балерунья дует мне попеременно то в один глаз, то в другой. Я моргаю, дергаю головой, уклоняясь от теплого ветерка, поворачиваюсь на бок, к ней спиной. Вновь смеживая веки. Но Балерунья не оставляет меня. Она взгромождается мне на плечо, перегибается через него, и глаза мне обдает новое дуновение зефира.

— Эй, ну-ка! — посмеиваясь, трясет меня Балерунья, когда я, принужденный ею открыть глаза, устремляю на нее вопросительный взгляд. — Разоспался. Давай поднимайся. — В посмеивающемся голосе ее звучит сытость. — Девушка довольна. Но она привыкла начинать утро без свидетелей.

Через четверть часа, обутый, одетый, освеженный несколькими пригоршнями холодной воды из-под крана, я стою в прихожей, и Балерунья прощально целует меня особым своим, *проводжающим* поцелуем — легко, но цепко, словно говоря: я тебя отпускаю, но ты мой.

— Лиз, мы договорились? — не могу удержаться, спрашиваю я, прежде чем уйти.

— Что за вопрос? — во взгляде ее глаз и в голосе ярко выраженный упрек. — Конечно.

Мы договорились, что она рассылает стрелы из своего колчана во все стороны света, чтобы раздобыть мне какой-нибудь грант. У нас, за границей, от «Интеллидженс сервис», от бен Ладена — от кого угодно. Раз я не могу заработать на жизнь своими умениями — нигде! никак! — подайте, господа, поэту вспомоществование. Почему вы давали другим, направо и налево, а ему, сколько он ни пытался испить из этого источника, все выходил облом? Все вокруг испили из него, и не по одному разу, я, похоже, единственный и остался непрорвавшимся к струе. Или прежде я не слишком

и хотел прорваться? Если бы хотел, додумался бы, наверно, до Балеруны раньше. А теперь, значит, прижало... Прижало, прижало!

Ночная Гончарная совершенно пустынна, только стада пасущихся вдоль тротуаров машин, лоснисто блестящих под дождем лаковыми боками, дождь подутих, сечка его еле ощутима, и поднимать над головой зонт нет нужды. Тем более что зонт я забыл у Балеруны. То, что зонт оставлен у нее, я обнаружил, едва выйдя на улицу, но, потоптавшись у крыльца, решил не возвращаться. Меня вдруг пробило суеверным: возвращаться — плохая примета.

Мчаться по ночной Москве, пусть ты и ведешь такое корыто, как мое, настоящее наслаждение — будто ешь «Баунти». Несущихся огней вокруг, несмотря на ночь, несмотря на погоду, полно, но по сравнению с дневной порой — пустыня, и я долетаю до родного Ясенево меньше чем за полчаса. Хотя и не такое уж оно мне родное; район моего телесного обитания в последние годы — вот и всё.

После чертогов Балеруныного дома моя однокомнатная квартира кажется мне истинной конурой. Ладно что она мала мне и несколько сотен книг просто стоят стопками на полу, но за годы, что прожил в ней после разъезда со второй женой, я так и не сумел придать ей мало-мальски пристойного вида, как въехал, не сделав ремонта, так и живу: линолеум на полу местами порван, обои отстают от стен, на потолке трещины. Невероятно невыгодное сравнение с жилищем Балеруны.

Но это мое пристанище, мой кров, у меня здесь есть стол, есть кровать (диван-кровать!), над головой не каплет — и я люблю свой дом. Просто за то, что он есть. С годами я стал понимать, что такое крыша над головой. Кто ты, что ты, если у тебя нет над головой крыши? Ты уже не живешь, ты выживаешь. Борешься за физическое существование.

Телефон сообщает о своем физическом существовании, только я успеваю раздеться и переобуться.

— У меня, оказывается, нет твоего мобильного! — с возмущением говорит в трубке Балеруна. — Уже третий раз звоню тебе — долго как едешь. Я тут, ты уехал, подумала на свежую голову, — в этом месте она пускает порхающий быстрый смешок (свежая голова у нее после моего отъезда!), — и поняла: не нужен тебе никакой грант. Что грант, что там будут за деньги, да еще когда дадут!

— И что ты предлагаешь взамен? — удается мне вставить в ее речь.

— Я тебя устрою в Кремль, — объявляет Балеруна. —

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.